

С
К
Л
А
З
А
П
И
Я
О
П
А
В
Ь
И
Х
А
У
Х
А
Х

Стрелецкий крест

Илья Лакеев



18+

Илья Лакеев

Стрелецкий крест

«Автор»

2026

Лакеев И. О.

Стрелецкий крест / И. О. Лакеев — «Автор», 2026

Эпический роман о временах Ивана Грозного, где история сплетается с мистикой. Стрелец Савва, призванный в приказ, оказывается в эпицентре великих потрясений: Ливонская война, набеги крымцев, опричнина и роковая любовь к Веселине, дочери стрелецкого головы. Судьба сводит его с тайной золота хана и проклятием навьих духов: крестьянка Радмила превращается в оборотня-мавку, а тени прошлого грозят разрушить будущее Руси. Кульминацией становится битва при Молодях — момент, когда решается судьба государства. Пройдя через тюрьму и изгнание, Савва возвращается, чтобы сделать выбор между долгом и сердцем. В романе переплелись масштабные сражения, древние поверья и личная драма героя на фоне переломной эпохи.

© Лакеев И. О., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. ВЗРОСЛЕНИЕ	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Илья Лакеев

Стрелецкий крест

Глава 1. ВЗРОСЛЕНИЕ

1558 год. Подмосковная деревня Заречье раскинулась на пологом берегу речки Пахры — словно лента из серых крыш, перемежающихся с зелёными лоскутами огородов и тёмными пятнами палисадников. Тридцать дворов — не много и не мало: тут каждый знает соседа, а чужой человек сразу бросается в глаза. Над селом, чуть в стороне от дороги, белеет церковь Покрова — её звонница будто сторожит покой Заречья, а кресты ловят первые лучи солнца. Чуть поодаль, на возвышении, темнеет барская усадьба: крепкие срубы, высокий забор, над воротами — резной конёк. Оттуда веет иной жизнью — строгой, расчётливой, далёкой от крестьянских забот. Утро в Заречье начиналось рано. Ещё туман цеплялся за берега Пахры, стелился над водой, будто прятал её течение, а уже по дворам ходили хозяйки, растапливали печи, выводили скотину. В одном из крайних дворов, ближе к лесу, проснулся Савва — тот самый восьмилетний мальчишка, что бегал босиком по весенней оттепели и гонял ворон с барского гумна. Он выскочил на крыльцо, зажмурился от резкого света, вдохнул сырой, пахнущий мокрой землёй и дымом воздух. Мать уже хлопотала у печи, отец собирался в поле: весна не ждёт, надо успеть подготовить землю, пока она мягкая, пока не схватилась солнцем. Савва схватил краюху хлеба, макнул в соль и выскользнул за калитку. Пахра шумела чуть громче обычного — половодье ещё не сошло, вода бурлила, пенилась у коряг, тащила мимо берегов прошлогодние ветки. Мальчишка побежал вдоль берега, огибая лужи, прыгая с кочки на кочку, и вдруг замер: на противоположном берегу, там, где тропа уходила в лес, стоял незнакомый человек в тёмном кафтане. Он не двигался, будто прислушивался к чему-то, а потом медленно поднял руку и указал в сторону барской усадьбы. Сердце у Саввы ёкнуло: чужак в Заречье — редкость, а уж такой молчаливый и внимательный — и вовсе дурная примета. Мальчик попятился, прячась за куст ивы, и только тогда заметил, как из-за поворота тропы вышли ещё двое — в таких же тёмных одеждах, с посохами, но без крестьянской суеты в движениях. Они шли уверенно, будто знали, куда направляются. Не помня себя, Савва бросился назад, к дому, чтобы рассказать отцу. Но едва он переступил порог, как мать строго сказала: — Не бегай попусту. Сегодня к обеду барин пришлёт приказчика — будет переписывать дворы да считать, сколько ржи надо сдать. Нам лишний шум ни к чему. Мальчик прикусил губу, глядя на мать, и понял: про незнакомцев лучше пока молчать. Но в груди всё равно трепетало что-то тревожное, будто сама деревня, со всеми своими тридцатью дворами, церковью Покрова и барской усадьбой, вдруг стала тесной и чужой. А Пахра всё шумела, неся свои воды дальше, к большим рекам, к далёким городам, к войнам и переменам, которые уже надвигались на Русь, словно грозовая туча, пока ещё едва заметная на горизонте. Савва и правда не знал, куда девать эту весеннюю силу — она бурлила в нём, как Пахра в половодье, и просилась наружу. Босые ноги сами несли его по оттаявшей земле: то по узкой тропке вдоль берега, где глина ещё была скользкой и липла к пяткам, то через луга, где трава только-только пробивалась зелёными иголочками. Воздух пах сырой землёй, дымом из труб и чем-то острым, тревожным — будто сама весна была не просто теплом, а вестницей перемен. А на барском гумне в эти дни кипела своя жизнь. Туда свозили остатки прошлогоднего зерна, перебирали, считали, готовили к посеву. Над гумном кружили вороны — хитрые, нахальные, будто знали, что люди сейчас заняты делом и не станут гонять их всерьёз. Но Савва не мог пройти мимо: стоило ему увидеть чёрную стаю, как в груди загоралось озорство. Он подбирал у забора сухую ветку, делал вид, что идёт грозно и решительно, и с криком выбегал на гумно. Вороны взмывали в небо с хриплым карканьем, кружились над

его головой, будто укоряли, а потом снова садились чуть поодаль — не слишком далеко, но и не близко. Савва хохотал, чувствуя себя настоящим стражем, и снова гнал их прочь. В тот день всё шло как обычно: он обошёл гумно по кругу, распугал ворон, постоял, глядя, как мужики ворошат зерно вилами, и уже хотел побежать дальше, к лесу, где, по слухам, появились первые проталины с подснежниками. Но тут из-за угла амбара вышел приказчик — сухой, строгий, с палкой в руке. Он окинул взглядом двор, заметил мальчишку и нахмурился:

— Чего тут крутишься, Савва? Опять ворон гоняешь? Нам тут не до забав. Барин велел всё пересчитать, каждую горсть. Ступай-ка лучше домой, помоги матери.

Савва прикусил губу, но спорить не стал — знал, что с приказчиком лучше не связываться. Он попятился, не сводя глаз с мужчины, а потом развернулся и бросился прочь, мимо плетня, через огород, к своему двору. Сердце колотилось где-то в горле, и вовсе не от бега: в словах приказчика слышалось что-то большее, чем простое недовольство. Будто над деревней нависло ожидание — тяжёлое, густое, как грозовые тучи перед ливнем.

Дома мать стояла у печи, помешивая кашу в чугунке. Увидев сына, она вздохнула:

— Опять носишься как угорелый. Сходи к отцу на поле, отнеси краюху хлеба да скажи, что я велела не задерживаться — вечером надо крышу поправить, пока дождь не пошёл.

Савва кивнул, схватил хлеб, завернутый в тряпицу, и снова выбежал за порог. Теперь он бежал не ради забавы, а по делу, и даже вороны, снова кружившие над гумном, уже не казались ему такими весёлыми. В груди всё ещё трепетало то самое чувство — то ли страх, то ли предчувствие, то ли просто детская тревога перед чем-то большим, что уже надвигалось на Заречье, на Пахру, на всю эту привычную, уютную жизнь, которую он так любил. И когда он, запыхавшись, добежал до поля, где отец с другими мужиками рыхлил землю сохой, и протянул ему хлеб, отец вдруг посмотрел на него не как обычно — не строго, не рассеянно, а внимательно, будто хотел разглядеть в сыне что-то важное.

— Что-то ты бледный, Савва, — проговорил он, вытирая рукавом лоб. — Не случилось ли чего?

Мальчик хотел было рассказать про незнакомцев на берегу, про приказчика, про это странное чувство, будто мир стал теснее и опаснее. Но слова застряли в горле. Он только помотал головой и тихо ответил:

— Нет, батя. Просто бежал быстро.

Отец кивнул, будто поверил, и снова взялся за соху. А Савва остался стоять рядом, вглядываясь в горизонт, где небо сливалось с лесом, и думал о том, что весна — это не только тепло и подснежники. Это ещё и время, когда всё меняется, когда старые дороги ведут к новым испытаниям, а тихие деревни вроде Заречья вдруг оказываются на перепутье больших историй. Тимофей, отец Саввы, стоял в борозде, крепко уперев ногу в землю, и тянул соху, будто хотел не просто перевернуть пласт, а выговорить самой земле её тайну. Кряжистый, с широкими плечами и руками, привыкшими к тяжёлой работе, он будто срослись с этим полем — как старый дуб с корнями, что держат его в бурю. Рубаха на нём потемнела от пота и пыли, рукава были закатаны до локтей, открывая жилистые, бугрящиеся мышцами руки. Соха была тёмной от вьёвшейся земли — годы пахоты покрыли её слоем чернозёма, словно лаком. Тимофей водил ею ровно, без суеты, но с такой силой, что земля поддавалась неохотно, с глухим ворчанием, выворачивая наружу влажные, тяжёлые пласты. За ним тянулась ровная борозда — будто шрам на теле поля, но шрам нужный, правильный, тот, что даст жизнь хлебу. Рядом, чуть поодаль, ходил десятник — приглядывал, чтобы барская десятина была вспахана как следует, ни пяди не пропущено. Он время от времени покрикивал на мужиков, торопил, напоминал про сроки: барину нужен хлеб, война требует припасов, а время не ждёт. Но Тимофея он почти не трогал — знал, что этот пахарь не подведет. У него каждая борозда ложилась ровно, каждый поворот был выверен, будто он чувствовал поле, как чувствует человек дыхание близкого. Когда Савва подошёл и протянул отцу краюху хлеба, завернутую в тряпицу, Тимофей на миг

остановился, оперся на соху и посмотрел на сына. Лицо его было усталым, но не ожесточённым — скорее собранным, будто вся его сила сейчас ушла в эту работу, в эту землю, в этот долг перед домом и барином.

— Спасибо, сынок, — проговорил он, беря хлеб и отламывая кусок. — А ты чего тут? Мать отпустила?

Савва кивнул, но не решался сразу заговорить. Он смотрел на отца и видел в нём не просто мужика с сохой, а какую-то нерушимую опору — такую же твёрдую, как сама земля, которую тот пахал. И от этого слова о незнакомцах на берегу вдруг показались ему слишком мелкими, почти стыдными: ну что там какие-то чужаки, когда отец тянет эту тяжесть, когда вся деревня держится на таких, как он.

Тимофей заметил, что сын мнётся, и чуть смягчился:

— Ты не стой просто так. Собери вон те камни у края поля — их надо вынести, а то соха будет биться. Да смотри, не поранься.

Савва послушно кивнул и пошёл собирать камни, перекладывая их в кучку у межи. Он двигался осторожно, поглядывая на отца, и думал, что, наверное, именно так и становится мужчина — не в один миг, а вот так, шаг за шагом: сначала несёт хлеб, потом убирает камни, потом берёт в руки соху и тянет её сам, чувствуя, как земля сопротивляется, и не сдаётся. А Тимофей снова взялся за работу. Соха скрипнула, врезаясь в почву, и пошла вперёд, оставляя за собой тёмную, влажную полосу. Солнце поднималось выше, пригревало спину, и над полем уже витал тот особенный запах — сырой, густой, хлебный, будто сама земля шептала: «Я готова. Я приму зерно. Я дам урожай». И в этом шуме земли, в скрипе сохи, в криках птиц над полем Савве вдруг стало спокойнее. Пусть там, на берегу, стоят незнакомцы, пусть приказчик хмурится и торопит мужиков — здесь, рядом с отцом, всё было понятно и правильно. Здесь был труд, который держит мир. И Савва, подбирая очередной камень, твёрдо решил: он будет помогать. Он будет рядом. И когда придёт время, он тоже встанет в борозду — и потянет соху, как отец. Акулина двигалась по избе тихо, будто боялась спугнуть сам воздух дома — и в этом её молчании было больше слов, чем в долгих разговорах. Тёмная коса, туго заплетённая и уложенная венцом, отливала в свете лучины глубоким каштановым цветом, а лицо, хоть и тронутое ранними морщинами, хранило ту особую крестьянскую строгость, что рождается не от суровости, а от ответственности: за мужа, за сына, за каждый кусок хлеба на столе. Руки у неё были обветренные, загрубевшие от воды, золы и теста — на них не осталось ни мягкости, ни гладкости, зато жила сила, способная и печь растопить, и ребёнка прижать к груди, и тяжёлый ухват поднять без жалоб. Она то и дело проводила ладонью по фартуку, будто стряхивая невидимую муку, и в этом привычном жесте сквозила вся её жизнь — непрерывная, хлопотливая, без лишних пауз. А под рубахой, на простой льняной тесёмке, у неё хранился медный нательный крестик — потемневший от времени, с едва различимыми очертаниями распятия. Это была единственная ценность семьи: не из-за металла — медь недорого стоит, — а из-за истории. Его надел на неё отец в день свадьбы, шепча: «Пусть хранит тебя, дочка, как бережёт нашу землю небо». С тех пор крестик не покидал её груди: ни в жару, ни в стужу, ни в самые тяжёлые дни, когда казалось, что беды наваливаются стеной. Сейчас, пока Савва бегал по деревне, а Тимофей пахал барскую десятину, Акулина стояла у печи и месила тесто. Движения её были размеренными, почти ритуальными: размять, сложить, снова размять — так она будто вымешивала из себя тревоги, не давая им прорваться наружу. Время от времени она касалась пальцами крестика под рубахой — лёгким, почти незаметным движением, как будто проверяла: на месте ли опора. И это прикосновение было для неё вроде молитвы без слов: «Пусть всё будет ладно. Пусть вернутся живыми. Пусть хлеба хватит до нового урожая».

Когда в дверь осторожно постучали — не властно, как стучал приказчик, а робко, по-соседски, — Акулина тут же отряхнула руки, поправила платок и пошла открывать. На пороге стояла соседка Марфа, сгорбленная, с усталыми глазами:

— Прости, что тревожу, Акулина... У нас в доме хворь прицепилась. Не дашь ли щепотку соли заговоренной? Или хоть просто так, ради милости...

Акулина не стала спрашивать, какая хворь, не стала укорять за суеверия. Она молча кивнула, отошла к ларю, отсыпала горсть соли в тряпицу и протянула соседке. А потом, чуть помедлив, сняла с шеи крестик на тесёмке, приложила к соли и тихо прошептала несколько слов — не заклинания, а просто просьбы, обращённой в тишину. Вернув крестик на место, она сказала спокойно:

— Держи. Пусть поможет. А если завтра станет хуже — зови, я сама приду.

Марфа поклонилась, прижимая узелок к груди, и ушла, оставив после себя запах сырости и тревоги, который тут же развеялся в тёплом воздухе избы. Акулина закрыла дверь, постояла немного, прислушиваясь к тишине, а потом вернулась к тесту. Оно уже поднималось, тёплое, живое, будто отвечало на её заботу. В этот момент в избу ворвался Савва — запыхавшийся, с покрасневшими щеками, с прилипшей к рубашке соломинкой. Он остановился на пороге, будто боялся нарушить этот тихий, выстроенный порядок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.